

Оснований для беспокойства
нет.



А.В. Христофоров

Артём Христофоров

Оснований для беспокойства нет

«Автор»

2026

Христофоров А.

Оснований для беспокойства нет / А. Христофоров — «Автор», 2026

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ЗАЩИТЫ По результатам планового обследования у лица, указанного в приложении, выявлено носительство. Диагноз подтверждён повторно и пересмотру не подлежит. Носительство не является ни виной, ни приговором. Лицо не совершило и, при своевременном вмешательстве, не совершит ничего предосудительного. Именно поэтому мера применяется сейчас, а не после. В интересах общества и самого лица носитель изъят и помещён на ответственное хранение, где содержится в безопасности, без страданий. Для него не идёт время. Он будет возвращён в прежнем виде по мере научного решения вопроса. Свидания не предусмотрены. Дата возвращения не устанавливается. Мы разделяем вашу тревогу и рекомендуем вернуться к обычной жизни. Вам сохранены и достоинство, и надежда. Оснований для беспокойства нет.

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Артём Христофоров

Оснований для беспокойства нет

Глава

Глава первая

История. Люди не придумали ничего более скучного, чем уроки по истории.

Мировые войны, борьба за ресурсы и власть — всё это дела давно минувших дней, и я не понимаю, зачем мне это знать. Человечество победило эти пороки. Об этом говорят так часто, что это уже похоже на белый шум: профилактика, ранняя диагностика, носители выявляются вовремя, общество в безопасности. Говорят с экранов, в школе, в очереди к врачу — заботливо, бесконечно, тем особым голосом, каким объясняют то, что очевидно. Я давно перестал вслушиваться. Но разум сам цеплялся за этот шум.

Единственный плюс от факультатива по истории — это возможность любоваться ей.

Она забавно шурится, потому что луч солнца светит прямо в глаза. Луч отражается от окна в доме напротив. Чтобы достать до тех окон, солнце должно перевалить через нашу крышу — в школе четыре этажа, метров двенадцать, до соседнего дома вдвое больше, и выше нашей крыши для него солнце поднимается только к полудню. Значит, около двенадцати; значит, ещё минут пятнадцать, и бубнёж преподавателя закончится.

Я считаю это неосознанно. Оно считается само.

Яна — первая любовь навсегда. Но не единственная. Чуть меньше, чем Яну, и намного больше, чем историю, я люблю разговаривать с богом. Если бы я сказал так на улице, меня бы записали в религиозные фанатики, а это сейчас почти диагноз. «Математика — это язык, на котором говорит бог», — так когда-то сказала мне мама.

История — обязательный предмет для медика. Смешно, если вдуматься: будущим врачам зачем-то полагается назубок знать даты войн, которых не было на нашем веку. Но это только на первый взгляд не вяжется. Нам ведь всё время повторяют: человечество спасли не пушки, а лаборатория. Значит, медик должен помнить, от чего спас, — иначе как ему беречь то, что добыто. История тут не про прошлое. Она про то, кем мы себя считаем. Вот вся причина, по которой я здесь, а не где-нибудь, где числа важнее прошлого.

Отец сказал — медицина, и я сказал — хорошо. Яна сказала — биоэтика, и я сказал — да будет так. Удобно, когда все твои причины складываются в одну сторону. Можно сделать вид, что выбрал сам.

— Маркевич.

Преподаватель не повышает голос. Ему незачем. В нашем мире никто не повышает голос — это считается чем-то вроде дурного запаха.

— Маркевич, ты с нами?

— Да, тысяча девятьсот тридцать девятый.

— ... раз я прошу тебя быть повнимательней на моих уроках.

Кто-то смеётся. Яна немного оборачивается, ровно настолько, чтобы я увидел, что она оборачивается, и не настолько, чтобы это заметил кто-то еще.

Преподаватель возвращается к доске, к датам и фактам, которые написали победители. За окном луч уже сдвинулся с парты Яны на мою — солнце идёт своим расписанием, единственным в этом здании, которое никто не составлял и не утверждал. Я смотрю, как полоса света ползёт по исцарапанному пластику, и думаю, что свет — это тоже число.

Через две недели — выпускной. Аттестат, фотографии, взволнованные родители. И анализ. Обязательный, как история, как медкомиссия, как всё, что делается ради нашего же блага. Я о нём почти не думаю. У нас о нём почти никто не думает — так же, как не думаешь о том, что под ногами пол. Он есть. Он держит. Зачем о нём думать.

А сейчас только свет, ползущий по парте, девочка, которая шурится, и девятьсот секунд до звонка.

Глава вторая

Звонок здесь не звенит. Где-то в стенах меняется тон — низкий гул сменяется чуть более высоким, — и все встают. Считается, что резкие звуки раздражают.

Яна выходит первой, я за ней. В коридоре она идёт чуть впереди и чуть боком, чтобы говорить и видеть меня одновременно. У неё всё получается чуть свободнее, чем у меня. Я всегда это замечал и никогда не понимал, как это устроено.

— Зачем тебе это вообще? История, медицина. Видно же, что тебе не интересно.

— Можно подумать, тебе интересно.

— Мне интересно. Я странная.

— А я тренирую выдержку. Через тяготы и лишения.

Она улыбается — коротко, как будто сейчас она в моменте, но через секунду мысли текут уже в другую сторону. Это её манера: бросить и пойти дальше.

— Слушай, пойдём после школы к озеру. Просто посидеть. Все идут.

Меня прихватывает. «Все идут». Не мы, все.

— Не могу. Обещал отцу прийти пораньше.

— Скучный ты.

— Я надёжный. Это другое.

— Ну тогда до завтра. Увидимся на профориентации.

Я не сразу понимаю, о чём она. Профориентация — это когда в школу сгоняют людей из разных вузов, и они по очереди объясняют, зачем именно к ним и почему это правильно. Для тех, кто ещё не определился.

— Ты же выбрала, где страдать.

— Ну да.

— Тогда зачем тебе туда?

Она смотрит на меня так, будто я спросил, зачем смотреть в окно, если уже знаешь, какая погода.

— Интересно же.

Она машет, не оборачиваясь, и сворачивает ко «всем». Я смотрю ей вслед ровно столько, сколько можно смотреть, чтобы это ещё считалось нормальным, и иду в другую сторону.

Дома пахнет тем, что отец называет ужином. Он готовит честно, по рецептам, которые где-то нашёл, и у него почти получается. Полка над плитой висит чуть криво — он вешал сам, выровнял на глаз, глаз подвёл, и так и осталось. Я давно перестал замечать наклон. В этом доме много вещей, которые держатся на «и так сойдёт», и они держатся, и это, в общем, и есть наш дом.

— Рано ты, — говорит отец, не оборачиваясь от плиты. Он рад, я вижу по спине. У него спина рада, а голос обычный.

— Обещал же.

— Обещал. Садись, почти готово.

Я сажусь на своё место, у нас у каждого свое место. Третий стул стоит, как стоит. Мы не отодвигаем его и не придвигаем, не вешаем на него куртку, не кладём на него сумку. Он просто стоит как часовой, и это так давно, что я не помню, чтобы было иначе. Про него ничего

не говорят. Есть вещи, которые в этом доме держатся на «и так сойдёт», а есть одна, которая держится на том, что её не трогают.

— В университете, — говорит отец, накладывая, — будет проще, чем в школе. В школе вас мучают всем подряд. Там уже по делу.

— А чем мучения по делу отличаются от мучений не по делу? Мучатся не так обидно?

— Я серьёзно. Первый курс — да, тяжело. Потом втянешься. — Он садится. — Я вот тоже думал, а если, а может, а потом привык и даже начало нравится.

— Ты ещё расскажи про общежитие.

— А что общежитие. — Он оживляется. Я знаю, что сейчас будет, я это слышал, но он любит это рассказывать, и я люблю, что он любит. — У нас на этаже был один. Завёл будильник на полшестого, чтобы первым в душ. И каждое утро все в полшестого шли в душ. Все кроме него. А он спал как убитый.

Он смеётся, и я улыбаюсь. История не смешная. Она почти смешная — в ней всё на месте, и будильник, и спящий, и абсурд, — но что-то не дотягивает, какой-то последний толчок, после которого было бы по-настоящему смешно. Отец рассказывает хорошо. Просто смешно не выходит. Я улыбаюсь не истории. Я улыбаюсь тому, как он её рассказывает.

— И что с ним стало? — спрашиваю, хотя знаю.

— С будильником?

— С человеком.

— А, человек. — Отец задумывается. — Человек выучился, когда высыпаться учёба дается легче! — он улыбается еще одной своей шутке.

Мы едим. За окном темнеет, медленно, все идет своим чередом. Я думаю, что надо бы сказать отцу что-нибудь — не про учёбу, не про университет, а другое, какое-нибудь, — но не знаю какое и не знаю зачем, и момент, как всегда, проходит сам, и мы оба даём ему пройти. Нам хорошо так. Это правда хорошо. Просто рядом с этим хорошим всегда стоит один стул, который мы не занимаем.

После ужина мы расходимся. Это не правило и никогда им не было — просто в какой-то момент тарелки в раковине, отец у себя, я у себя, и дом раскладывается на две тихие половины.

У отца «свои дела». Он называет их так — дела, — и говорит о них тем голосом, каким говорят о важном, чтобы не объяснять, что это. Какие-то бумаги, какие-то отчёты по работе, что-то, что всегда есть и всегда не доделано. Я слышу через стену, как он передвигает стул, шуршит, иногда замирает надолго. Я знаю, что половину этого времени он не работает. Он просто сидит при включённой лампе, чтобы было чем заняться, чтобы руки и глаза были при деле, и тишина наполнялась смыслом. Я не лезу. У каждого своё.

У меня — тетрадь.

Не школьная. Школьные я закрываю и забываю. Эта — толстая, с загнутыми углами, и в ней нет ни одной даты и ни одной чужой задачи. В ней то, что я считаю для себя. Ряды, которые сходятся или не сходятся. Простые числа, которые идут как им вздумается, и я давно бросил искать в них правило, но всё равно выписываю — просто чтобы они были, просто чтобы смотреть, как они стоят. Доказательство, которое я веду уже месяц и которое, скорее всего, никому не нужно и давно кем-то доказано. Это не важно. Важно, что пока я его веду, я разговариваю.

Я не знаю, с кем. Точнее, знаю, но, не говорю вслух. Я просто чувствую, что, когда строка сходится — мне отвечают. Не словами. Тем, что сошлось. Как будто на том конце кто-то кивнул: да, верно, ты понял. И в эту секунду я не один в комнате.

Это язык, на котором говорит бог. Я был мал и понял буквально: значит, можно выучить и говорить с ним. Она научила настолько насколько позволило время.

Так мы и сидим вечерами, через стену. Отец заполняет тишину делами, которые держат его на плаву. Я заполняю свою — строками, которые держат на проводе того, до кого иначе не

дозвониться. Каждый говорит, как умеет, с тем, с кем может. И ни один из нас не говорит с другим — потому что для этого языка у нас обоих нет навыков.

За стеной снова скрипнул стул. Я вывел следующую строку. Она сошлась.
Спокойной ночи.

Глава третья

Залов он повидал много, и этот ничем не отличался. Старшеклассники, согнанные на актовый час, рассажённые по классам, заранее уставшие. На сцене до него выступал кто-то из инженерного — говорил про мосты и энергосети, показывал слайды с чистыми, залитыми солнцем кварталами. Зал слушал так, как слушают то, что шумит, но оно необходимо: вежливо и мимо.

Он закрывал этот рынок профессий. Биоэтику всегда ставят в конец — то ли как самое важное, то ли как то, что можно и пропустить, если время вышло. Он давно перестал гадать. Он вышел, поставил ладони на кафедру и не стал начинать с того, чем занимается. Он начал с того, зачем.

— Поднимите руку, — сказал он, — кто из вас боится идти домой по своему району вечером.

Никто не поднял. Несколько человек переглянулись.

— Вот именно. Никто. А теперь спросите своих бабушек и дедушек, подняли бы они руку. — Он сделал паузу, прием, которым умел держать зал. — Они бы подняли. Все. Они жили в мире, где человек был угрозой человеку. Где из-за цвета, из-за веры, из-за клочка земли убивали миллионами. Вы читаете про это в учебниках и не верите, потому что для вас это так же дико, как огонь для рыбы. Вы выросли в воде. Вы не знаете, что такое гореть.

Девочка в первом ряду смотрела на него не отрываясь. Светлая, прямая, вся развёрнутая к сцене — из тех, кого видно сразу, потому что они сами хотят, чтобы их было видно. Он отметил её машинально, она стала маяком его выступления: вот сюда речь попадает, значит, речь живая, значит, можно продолжать. Он стал говорить чуть больше для неё.

— Мы не стали добрее, — сказал он. — Это важно понять. Человек не изменился. В человеке сидит всё то же, что сидело в предках. Мы просто научились видеть это раньше, чем оно проснётся. Есть причина. Её можно прочесть — заранее, до того, как человек станет опасен для общества. И тех, в ком она есть, мы не караем. Мы оберегаем — и их, и вас. Изоляция, пока наука не научится исправлять. Это не тюрьма. Это больница, которая ждёт лекарства.

Светлая девочка чуть подалась вперёд. Он знал это движение. Так подаются, когда измеряют — не профессию, а себя в ней. Она уже видела, как стоит вот так же на сцене, как говорит такие же слова, как её слушают. Он не осуждал. Он сам когда-то так подался вперёд, в таком же зале, под чью-то речь, и вот стоит здесь.

— Кто-то из вас, — закончил он, — будет строить мосты. Это нужно. Кто-то будет лечить тела. Это нужно. А кто-то будет стоять между обществом и тем, что когда-то его убивало. Решать, кого оберегать и от чего. Держать весы, на которых — жизни. Я не скажу, что это лёгкая профессия. Я скажу, что без неё всё остальное не имеет смысла. Потому что строить мосты можно только в мире, где по ним не страшно идти.

После было и то, чем именно придется заниматься и насколько это престижно, но главное, что зажигает было сказано вначале и зал слушал даже скучное заключение.

Хлопали хорошо. Светлая девочка хлопала громче всех — и смотрела так, будто решение уже принято, хотя он знал, что в её возрасте решения меняются к вечеру. Это его не заботило. Из тридцати загоревшихся доходит один, и хватит. Семья бросают щедро, не считая, какое про- растёт.

Он собрал бумаги, кивнул учителю, вышел в коридор. День получился. Зал был живой, речь легла. Он сделал, что должен: показал детям, что есть руки, которые держат весы, и что эти руки могут стать их руками.

Он не думал о том, кто кладёт на весы гири, и кто читает показания. Он держал чашу — ровно, честно, всю свою добросовестную жизнь — и был уверен, что весы это он.

Он шёл домой по своему району. Было не страшно. Он считал, что в этом его вклад. Вклад длиною в жизнь.

Глава четвёртая

Изъян — это редкость. Один носитель на десять тысяч. Вероятность в 1 сотую процента. Важно, что это ничтожно мало. Я думаю об этом ровно секунду, пока иду по коридору к кабинету, и тут же забываю, потому что думать о вероятности, которая стремится к нулю, — это как бояться, что на тебя упадёт спутник. Можно. Но глупо тратить на это время.

Кабинет как кабинет, пахнет стерильностью. Женщина в светлом просит подставить руку. Мне не жалко. Что-то делает — не больно, даже не интересно. Спрашивает, как самочувствие, я говорю, что хорошо. Отметка в журнале. «Свободен».

Вот и весь анализ. Я выхожу и забываю про него быстрее, чем дверь закрывается за спиной. Так же, как не помнишь, что надо дышать. Ты дышишь и это настолько естественно, что об этом не думаешь.

А дальше — вечер, о котором я не думал, но чем ближе к нему, тем больше я ждал, когда он начнется — игра со временем. Ждешь и оно тянется как смола, оглядываешься назад и понимаешь, что оно летит со скоростью света.

Выпускной у нас не торжественный — торжественное считается давлением. Просто все нарядные, родители с краю, музыка, и то особое чувство, когда понимаешь, что вот это место, где ты провёл столько лет, через пару часов перестанет быть твоим. Я ловлю себя на лёгкой грусти и удивляюсь ей: я же не любил школу. Оказывается, можно не любить и всё равно жалеть, что это прошло.

Яна в красивом платье, и я весь вечер около неё, и это нормально, я всегда рядом. Танцуют все, и мы тоже, и в какой-то момент она оказывается так близко, что я слышу, как она дышит, и весь мир сужается до полуметра между нами. Сейчас. Можно сказать. Не «потанцуем» — другое, то, что я ношу полтора года и держу в себе, как держу доказательство в тетради, — недоведённым, потому что боюсь увидеть, чем оно кончится.

— После лета, — говорю я.

— Что после лета?

— Ничего. Просто. У нас будет целое лето, а все остальное после...

— Будет, — соглашается она и улыбается, и в её улыбке нет ничего, кроме хорошего вечера. Для неё это просто хороший вечер. Для меня — край, с которого я чуть не прыгнул. Музыка меняется, она поворачивается к кому-то, что-то говорит, смеётся, и полметра между нами, снова становятся обычным расстоянием между теми двумя, кто просто дружит. Я не прыгнул. Но я почти. И «почти» греет всю дорогу домой.

Отец ждёт меня во дворе. Не в квартире — во дворе, на лавке, и это странно, он не из тех, кто сидит во дворе. Я сажусь рядом. Ночь тёплая, и пахнет тем, чем пахнет лето в самом начале, когда оно ещё всё впереди.

— Ну что, — говорит он. — Отучился.

— Отучился.

Мы молчим. У нас хорошее молчание, мы умеем молчать вместе. Я жду, что он скажет что-нибудь про университет, про первый курс, про «втянешься», как всегда. Но он молчит дольше обычного, и я понимаю, что сегодня мы молчим про что-то другое.

— Ты вырос, — говорит он наконец. — Я всё думал, в какой момент с тобой можно будет говорить как со взрослым. Думал, замечу. А оно как-то само.

— И что, теперь можно?

— Теперь можно. — Он смотрит не на меня, а куда-то перед собой, в темноту двора. — Я тебе многого не говорил. Не потому, что нельзя. Потому что ты был маленький, а маленьких берегут.

Я молчу. Я не знаю, что сейчас будет, но я чувствую, что стену, которая всегда стояла, между нами, сегодня можно потрогать, и она тоньше, чем я думал.

— Она бы тобой гордилась, — говорит отец.

И всё. Он не говорит, кто «она». Ему незачем — в нашем доме есть только одна «она», та, чьё место за столом мы не занимаем. Он впервые за столько лет произносит её вслух, пусть и без имени, и я слышу, чего ему это стоит. Я хочу сказать что-то в ответ — что я тоже, что я с ней разговариваю, что я выучил её язык настолько, насколько успел, — но всё это слишком, и я не умею, и он не умеет, и мы оба сидим с этим невысказанным, и оно висит в тёплом воздухе, между нами, огромное.

— Я знаю.

Это всё, что я могу. Но он кивает, и я вижу, что этого хватило, что он услышал и то, чего я не сказал. Мы подошли к ней ближе, чем когда-либо, — на несколько слов, на «она бы гордилась», — и не переступили, и нам обоим этого почти достаточно. Почти. Будет ещё время. Мы сидим ещё немного, потом идём домой. Отец у себя, я у себя. Я не открываю тетрадь — сегодня не нужно, сегодня я и так не один.

Я ложусь и думаю, что завтра можно спать сколько хочешь, что школа кончилась, что Яна сказала «будет», что отец сказал «можно». Что впереди целое лето, а за ним — всё остальное.

Глава пятая

Типичный медицинский центр, каких сотни – возможно мое будущее место работы. Светлый коридор, мягкие стулья, на стене что-то успокаивающее — не картина, а просто приятное пятно желтого цвета, выбранное, чтобы не думалось. Я бы мог сходить сам, но прием всегда идет в присутствии одного из родителей.

Мы рядом, как вчера на лавке. Только вчера пахло летом, а тут — тем же, чем в любом кабинете: рутиной.

Отец сидит чуть скованно. Я вижу это по рукам — он держит их на коленях слишком ровно, как держат, когда не знают, куда деть. Он редко такой.

— Волнуешься? — спрашивает он.

— Нет.

— Совсем?

— Нет смысла, — говорю я. — Ты же понимаешь. Один на десять тысяч. Одна сотая процента. Это даже не близко. Волноваться об этом — как волноваться, что в тебя ударит молния в безоблачный день.

Отец кивает. Но руки с колен не убирает. И я, чтобы ему стало легче, добавляю:

— Я посчитал. Правда. Не о чем.

Он смотрит на меня и почему-то не становится спокойнее. Я списываю это на то, что взрослые тревожатся по привычке, без причины просто потому, что отвыкли не тревожиться. Мне его немного жаль.

Нас вызывают.

Клерк — молодой парень, с приятным лицом. Из тех лиц, которым веришь сразу. Он встаёт, когда мы входим, пожимает отцу руку, мне кивает, усаживает.

— Добрый день, меня зовут Михаил. Вы, что-нибудь хотите? Может быть воды?

— Нет, спасибо, давайте побыстрее закончим, мы спешим. — видно, что отцу неприятно находится здесь.

На столе у Михаила папка. Он открывает её, смотрит, и на секунду его приятное лицо делается ещё мягче — так смягчаются, когда собираются сказать что-то трудное и хотят сказать это правильно.

— Спасибо, что пришли так быстро, — говорит он. — Я понимаю, это всегда волнительно. Давайте я сразу, чтобы вас не томить.

Он складывает руки на папке.

— По результатам анализа у Адама выявлена предрасположенность. Носительство. — Он говорит мягко, и тут же, не давая паузе стать страшной: — Я сразу хочу, чтобы вы понимали: это не приговор и не вина. Это медицинский факт, с которым мы умеем работать. Адам будет под наблюдением, в безопасности, пока наука не предложит решение. И она предложит — над этим работают лучшие. Я понимаю, это звучит тяжело. Мне правда жаль, что приходится говорить это вам.

Ему правда жаль. Я вижу. Он не врёт.

Он просто ошибся. Так бывает. Вероятность говорит, что это почти невозможно. Я посчитал. Я считал не раз. Этого не может быть, потому что не может — так говорит математика.

— Тут ошибка, — говорю я. Спокойно, даже доброжелательно. Мне хочется ему помочь, он же не виноват, что в папку попало не то.

— Перепроверьте. Это чей-то чужой результат. Вы где-то перепутали образцы или что-то неправильно сделали.

Клерк смотрит на меня с тем же мягким сочувствием.

— Я понимаю, — говорит он. — Это очень частая первая реакция. Но ошибки нет. Анализ проверяется дважды, независимо. Мне жаль.

— Перепроверьте.

Я всё ещё спорю с числом. Я не понимаю, что спорю уже с человеком. Я сижу и жду, что он сейчас посмотрит ещё раз и скажет: да, верно, перепутали, извините. Это же просто арифметика. Одна сотая процента. Я знаю это число. Я ему доверяю, больше, чем Михаилу.

Отец рядом не говорит ничего. Я слышу, как он дышит — медленно, через раз, как дышат, когда держат что-то внутри, чтобы не выпустить. Я не оборачиваюсь к нему. Я смотрю на Михаила и жду, когда он исправит ошибку и извинится, что впустую потратил столько нашего времени.

— Перепроверьте, — повторяю я.

Михаил не отвечает сразу. Он смотрит куда-то мне за спину — коротко, на долю секунды, так, что я почти не замечаю. И за спиной тихо открывается дверь.

Их двое. В таком же светлом и спокойном как всё здесь. Они не подходят вплотную, не берут за плечо, ничего такого — просто встают у двери, буднично, с тем же приятным выражением лица. Они здесь на всякий случай.

— Я понимаю, как это тяжело, — говорит клерк. — Поэтому мы не торопимся. Адама направят в клинику — там сделают повторный анализ, независимый, по полной процедуре. Мы не имеем права на ошибку, поэтому всё проверяется ещё раз. Это в ваших интересах.

Повторный анализ. Я цепляюсь за эти два слова, как за поручень. Значит, ещё не точно. Значит, перепроверят и увидят, разберутся. Числа не врут — их просто надо посчитать заново, взять новый подход, и всё станет на места. Я почти благодарен ему за этот «повторный».

— Нужно подписать, — говорит он и поворачивает ко мне бумаги. И отцу — отдельные. — Согласие на наблюдение и повторное обследование. Формальность.

Отец берёт ручку. Я вижу его руку — она не дрожит, она слишком неподвижна, как тогда на коленях. Он подписывает там, где показано, не читая. Я тоже подписываю. Своё имя выходит чужим, будто я расписываюсь за кого-то другого.

Они разберутся папа, не переживай. Будет над чем посмеяться. Приходят как-то сын с отцом за выдачей результатов анализа, а клерк им и говорит...

Глава шестая

Здесь не лечат. Это понимаешь не сразу, а понемногу, как понимаешь, что на улице очень холодно, — сначала просто зябко, потому что ты только что вышел из теплого дома, а потом ты остываешь и холод берет свое.

Снаружи это похоже на санаторий. Чисто, уютно, тихие коридоры, мягкий свет, который не отбрасывает теней. Но санаторий — это место, откуда уезжают. А здесь нет ни одного признака отъезда. Нет дат выписки, нет разговоров «когда меня заберут», нет чемоданов. Те, кто лежит, не говорят друг с другом — не запрещено прямо, просто устроено так, что не получается: палаты порознь, прогулки порознь, и человек, которого ты видишь в конце коридора, исчезает за дверью прежде, чем ты успеваешь поймать его взгляд.

Я думаю, это не жестокость. Это бюрократическая аккуратность. Хотя, наверное, было бы проще, если бы все же можно было с кем-то поговорить. Общую беду делят на тех, с кем говорят, — разделил, и у каждого осталось по половине, легче. А здесь делить не на кого. Ноль собеседников. И каждый остаётся со своей бедой, не уполовиненной, а распухшей, потому что на ноль не делится — частное уходит в бесконечность. Они не запрещают нам говорить. Они просто следят, чтобы система была стабильной.

Я не помню имя психолога — он представился, но имена здесь не самое важное, для них просто не хватает места. Он приятный. Так, будто ему и правда не всё равно. Сидит рядом, чуть под углом, так садятся, когда хотят, чтобы разговор был не допросом, а разговором.

— Я не буду записывать, если ты не против, — говорит он. — Просто поговорим.

И мы говорим. Он спрашивает про школу, про то, скучаю ли я по кому-то, про отца. Слушает так, как редко слушают, — не чтобы ответить, а чтобы услышать. Я ловлю себя на мысли, что мне легче — после двух дней, когда поделить было не на кого. Он хороший. Если бы у меня был большой выбор, с кем здесь говорить, я бы выбрал его. И я говорю, говорю так как будто плотину изоляции сломали и слова больше ничто не держит.

— Что за шрам у тебя над бровью? — спрашивает он.

И я не знаю, что ответить. Не потому, что вопрос трудный — потому что он из другой вселенной. Мы только что говорили о беде, о том, как я держусь, о том, как делить не на кого, — а теперь шрам над бровью, как будто кто-то переключил канал.

— Бандитская пуля, — говорю я.

Я улыбаюсь и меня самого это смущает. Это не то место, где шутят. Шутка повисает в чистом мягком воздухе и не находит, обо что удариться, и я её подбираю обратно.

— Помогал отцу в детстве. Что-то снимали, кажется, полку. Она сорвалась. Ерунда, царапина. Но отец испугался так, будто всё, конец, — паники было больше, чем крови. Повёз зашивать, хотя хватило бы пластыря.

Я говорю это и сам не понимаю, зачем так подробно. Просто вспомнилось — отцовские руки, как он держал меня, как у него тряслось всё, а у меня даже не болело почти.

Психолог кивает. Не записывает — он же обещал не записывать. Просто кивает, будто получил то, за чем тянулся, и возвращается к душе, к тому, что бояться нормально, что я держусь молодцом, что всё временно. И я киваю на «временно» вместе с ним, потому что это единственное слово за два дня, в котором мы с этим местом согласны.

Он уходит. Чуть усталый, как человек, который весь день говорит с напуганными людьми и устаёт по-настоящему. Тяжёлая работа.

А я трогаю шрам и думаю, что это не шрам это сувенир из прошлого.

Отец приходит во второй половине дня.

Он стоит в дверях чуть дольше, чем нужно, прежде чем войти, — будто проверяет, та ли это палата, хотя двери прозрачные. Садится на край стула. Не на тот, что у кровати, а чуть дальше, и я понимаю: он не знает на каком расстоянии теперь надо сидеть. Как будто расстояние сейчас определяет степень нормальности.

— Как ты, — говорит он. Не вопросом. Он уже спросил это глазами, с порога.

— Нормально. Кормят и даже одевают.

Он неловко улыбается и кивает. Мы молчим. Это не наше обычное хорошее молчание, — это другое, в нём нет света, в нём страшно стоять. Я ищу, что сказать, и впервые в жизни не нахожу с ним слов, и он не находит со мной, и мы сидим, двое, которые так и не научились говорить о важном.

Я не выдерживаю первым. И, как всегда, успокаиваю не себя — его.

— Слушай. Всё будет хорошо. Они перепроверят и разберутся, это вопрос времени. — Я говорю это легко, как говорил про молнию в безоблачный день. — А если даже нет — ну, если даже что-то...

То, что? Я даже для себя еще не понял «что», но это что-то надо здесь и сейчас, не для меня для него.

— То наука не стоит на месте, они смогут все исправить... Надо просто подождать.

Он смотрит на меня.

— Подождать, — повторяет он.

— Ты умеешь, — говорю я. И сразу жалею, потому что вижу: попал. Он умеет ждать. Он ждёт уже много лет, за столом, где один стул так и стоит. Я хотел утешить, а напомнил, что ждать это не про завтра или на следующей неделе, это про то, как время изматывает и издевается.

Он не отвечает. Он смотрит на меня так, как смотрят на того, кого хотят запомнить, — и я не понимаю этого взгляда. Я объясняю его молчание тем, что отец просто устал и просто боится, без причины, по привычке. Мне снова немного жаль его. Я снова думаю, что у меня уверенности на двоих, и хорошо бы отдать ему половину.

Он сидит ещё немного. Потом встаёт, кладёт руку мне на плечо — тяжело, неловко, не умея, — и уходит. В дверях неловко оборачивается и кивает.

Глава седьмая

Дома было невыносимо громко. Это глупо звучит, но это так. Дома стены, и в стенах слышно, что никого нет, и это «никого нет» громче любого шума. В парке хотя бы просто шумят. Где-то кричат дети, лает собака, кто-то смеётся у фонтана. Чужой шум не спрашивает, как ты. Чужой шум просто есть, и под него можно сидеть.

...подтверждено повторным независимым исследованием...

Скамейка холодная. Я не взял куртку. Я вообще не помню, как вышел.

Позавчера он сказал — всё будет хорошо.

...паттерн изъят и помещён на ответственное хранение...

Изъят. Слово как из инструкции к технике. Изъять можно деталь. Картридж. Я держу в руке бумагу и не перечитываю, я её и не читал толком, я её *услышал* и теперь куски сами всплывают, не вовремя, между всем остальным.

Мальчик у фонтана уронил мороженое. Заплакал. Мать подняла, что-то говорит, вытирает. Через минуту он уже смеётся. Вот так. Уронил — подняли — смеётся. У детей всё чинится.

...содержится в надлежащих условиях, оснований для беспокойства нет...

Оснований для беспокойства нет.

Эта бумага кричала вместе со стенами дома. Я стоял посреди кухни и закрывал уши, как дурак, будто если закрыть уши, то все повернется вспять. Тело содержится. Оснований нет. Я

стоял, и за спиной был стол, и за столом теперь два места, на которые не садятся, и я не смог. Не смог там стоять. Поэтому я здесь.

...в случае научного решения вопроса паттерн будет возвращён...

Будет возвращён. Когда. Они не пишут когда. Она тоже была — будет возвращена. Сколько уже. Я перестал считать, я никогда не умел считать, это он умел, и она умела — я нет.

...всё проводимое осуществляется в интересах общества и безопасности граждан...

В интересах общества. Я — общество? Я гражданин. Меня обезопасили. От него. От них.

Темнеет. В парке зажглись фонари, и шум стал реже — расходятся. Скоро я тут останусь один на лавке, и тогда уже всё равно, парк или дом, потому что один везде один.

Надо вставать. Надо идти.

Ещё минуту под чужой шум, пока он есть и обратно в свою тюрьму.

Глава восьмая

Мир не знает, что у кого-то всё кончилось. Окна горят ровно, как всегда. За окнами ужинают, спорят про телевизор, кто-то моет посуду, кто-то целуется, кто-то просто сидит. У всех есть вечер. Я иду мимо чужих вечеров, и ни один из них не сбился сегодня ни на секунду.

Спешить некуда — там, куда я направляюсь, меня ждёт только стол с двумя пустыми местами. Раньше было одно. К одному я привык, к одному можно привыкнуть, человек ко всему привыкает, если оставить ему хоть что-то. У меня был он. Теперь не оставили ничего.

Витрины, фонари, машины. Запах из какого-то заведения — жарят мясо, и пахнет так хорошо, так живо, что меня мутит. Люди едят, еда — это энергия, энергия — это жизнь. У меня нет жизни, мне не нужна энергия, я почти не ем.

Смеются за столиками на улице, под лампочками, с бокалами. Целая улица людей, которым хорошо, которые живут свою жизнь.

И среди них он.

Я останавливаюсь не сразу. Так бывает. Сначала проходишь, и только через два шага тебя нагоняет — будто кто-то сзади тронул за плечо. Я оборачиваюсь.

Молодой человек за столиком. Вполоборота, смеётся чему-то, машет рукой, рассказывает — большая компания, всем весело, и ему весело, он в центре. И лицо.

Это он.

Сердце делает то, чего не делало давно, — бьёт куда-то в горло, бьёт сильно, до хрипоты. Сейчас подойду ближе, и я увижу чужое лицо, и мне станет стыдно, и я пойду домой. Это любой парень, похожий. Я не ел, не спал, мне мерещится.

Он поворачивает лицо ко мне.

И я не ухожу, как собирался. Потому что над бровью у него — шрам.

Маленький. Косой. Я знаю его не глазами — руками. Я держал эту голову, когда её зашивали, держал и трясся, как дурак, хотя там и крови-то было на пластырь, а я повёз, я настоял, и врач ещё усмехался — не переживайте, всё в порядке. И остался шрам. Косой, над левой бровью. Двух таких не бывает.

Я стою, и мир делает что-то странное — не рушится, нет, всё на месте, столики, лампочки, смех, — а просто перестаёт быть правильным. Как будто мне показали два и два и сказали, что это пять, и я вижу, что пять, вижу своими глазами, а так не бывает. Шрам его. Лицо его. А смеётся не он.

Не он смеётся. Вот что не сходится сильнее шрама. Я смотрю и не узнаю ни одного движения. Он сидит не так — он никогда так не разваливался на стуле. Он машет руками, когда говорит, — а мой не махал, мой держал руки при себе, у него всё было внутри, в голове. А этот — громкий, хохочет, запрокинув голову, хлопает соседа по плечу. Этот живёт с лицом моего сына и не знает ни одного его жеста.

Я делаю шаг ближе. Не решаю — ноги сами.

Он замечает меня. Скользит взглядом — так смотрят на постороннего, который подошёл слишком близко к чужому веселью. Никакого узнавания. Совсем. Ни тени. Он смотрит на меня его глазами и видит чужого старика, который зачем-то встал у их столика и пялится.

— Вам что-то нужно? — говорит он.

И голос не его. Лицо его, а голос чужой, и интонация чужая, и в глазах — никого из тех, кого я знал.

Я открываю рот. Я всю жизнь не знал, что сказать. Ни слова. У меня их нет. У меня их никогда не было.

— Извините, — говорю я. — Обознался.

Он пожимает плечами, отворачивается, и компания снова смеётся, уже без меня, я для них ничего, я уже забыт. А я стою. Улица течёт мимо, люди обходят меня, как столб, как фонарь, и где-то там, за столиком под лампочками, лицо моего сына пьёт, смеётся и живёт чужую жизнь.

Я стою и не ухожу.

Глава девятая

Молоточек завёлся в голове в тот же вечер и с тех пор не умолкал. Не боль — боль я бы перетерпел, у меня к боли отношение простое. А это другое: ровный, негромкий, бесконечный стук, одно и то же, по кругу, без устали. Я научился жить под него, как живут возле железной дороги: вроде и не замечаешь, а ночью лежишь и слышишь каждый состав.

Стучит, если уж совсем честно, не «где мой сын». Стучит — «в своём ли я уме».

Я ведь сам медик. Не по этой части — голова отдельная наука, в ней я смыслю не больше любого, кто читал по верхам. Но кое-что знает всякий, кто полжизни проработал среди людей и их болезней. Знаю, например, что горе умеет показывать. Что человек, потерявший близкого, потом видит его то тут, то там — в спине впереди, в чужом лице на остановке. Мне и пациенты сами рассказывали, смущаясь: доктор, а мне всё кто-то из близких мерещится, нормально это? Я кивал. Говорил — нормально, держитесь, не оставайтесь одни. Я не вникал глубже. Не моё было поле.

А теперь моё. И вот в чём беда: я знаю ровно столько, чтобы испугаться, и слишком мало, чтобы успокоиться. Я подхожу под это, как влитой: не сплю, не ем, остался один, потерял сначала её, потом его. Любой коллега, глянув на меня, сказал бы — классика, мужик плывёт от горя. И я первый сказал бы так про другого, и выписал бы покой, и был бы спокоен за пациента. Но сказать это про себя — и поверить — не выходит. Потому что если я плыву, то рушится не одно, рушится всё: тогда и сына, может, забрали не так, как я помню, и я сам себе больше не свидетель. Горе я бы вынес — горе я уже носил, я с ним умею. А вот это, когда не знаешь, можно ли верить тому, что видел собственными глазами, — это хуже горя. Это когда выбивают из-под тебя не близких, а саму землю.

И только одно не даёт мне списать всё на горе. Шрам. Горе показывает лица, подсовывает похожих — пусть. Но горе не знает того шрама, слишком мелкая деталь. Я его не вычитал и не вообразил — он у меня в пальцах. И сколько медик во мне ни уговаривает меня, что я плыву, на этом шраме он всякий раз спотыкается и умолкает.

Вот с этим спотыканием я и начал искать.

Не его — к ресторану я не вернулся. Я несколько раз доходил до того угла и поворачивал назад, потому что не знал, чего боюсь сильнее: увидеть опять или не увидеть. Я искал таких, как я. Мне нужно было, чтобы нашёлся хоть один человек, которому было то же самое и который при этом не сумасшедший. Один такой — и, может, тогда и я не сумасшедший. Я даже не за правдой шёл. Я шёл за тем, чтобы не остаться одному в своей голове.

Искать я не мастер. Всю жизнь чинил руками, а не лазил по сетям, и теперь сидел вечерами, тыкал неловко, набирал своими словами, стыдными, глупыми, которые и набрать-то

совестно: «узнал близкого в чужом человеке», «изъятый ходит в другом теле». Я бы со стороны на себя посмотрел и сам отвёл бы себя к врачу.

И сеть отвечала. Не там, где гладко. Гладко — это сверху, на виду: профилактика, забота, наука не стоит на месте. А если уйти глубже, в углы, куда нормальный человек не заглядывает, — там есть. Там много чего есть.

И тут мне сделалось нехорошо по-новому. Потому что это была помойка. Я открывал одно, другое, третье, и половина была таким бредом, что делалось стыдно за то, что я вообще сюда забрёл. Писали, что правят нами не люди. Что под городами — города. Что в воду что-то добавляют. Длинные, путанные тексты, где через слово — «проснитесь» и «они не хотят, чтобы вы знали». Вот, стало быть, куда я попал. Вот моя теперь компания. Те, кому мерещится. И, может, я давно один из них, просто последним узнал.

Я почти всё закрыл. Почти решил — хватит, это заразно, я лезу в чужой бред и подхватываю его, как хворь. Завтра пойду к своим, попрошу что-нибудь на сон, заглушу молоточек таблеткой и буду тихо доживать.

И тут попалось оно.

Без крика. Без «проснитесь». Короткое, спокойное, почти сухое. Писала женщина. Что дочь забрали — давно. По тому же самому: выявили, изъяли, поместили на хранение, наука не стоит на месте. Она с этим не спорила. Она писала дальше. Что года через два встретила её. В магазине, в очереди. Это была она — её лицо, её руки, родинка на запястье, которую она знала, как свою. Женщина подошла. Дочь не узнала её. Совсем, ни тенью. Посмотрела, как на постороннюю, расплатилась, вышла, села в незнакомую машину и уехала в незнакомую жизнь.

Писала она ровно. Без восклицаний, без «как такое возможно». Так пишут не сумасшедшие — так пишут те, кто уже отгоревал и просто кладёт это на бумагу, чтобы было хоть где-то записано. И в конце — одна строка: «Я знаю, что мне не поверят. Я пишу не затем, чтобы поверили. Я пишу затем, чтобы тот, кто видел то же, знал, что он не один».

Я перечитал это, наверное, раз десять.

И мне стало легче. Не лучше — легче. Будто кто-то наконец положил ладонь на плечо: и со мной так было. Если она в своём уме — то, может, и я в своём.

Я цеплялся не за то, что из этого следует. Туда я не шёл, не пускал себя так далеко. Мне хватало малого — что на свете есть ещё один такой. Этого было достаточно, чтобы сегодня уснуть.

Я всё закрыл, выключил, лёг. Молоточек стучал тише.

И на самом краю, перед тем как провалиться, мелькнуло — даже не мысль, тень мысли: а что, если она не просто не сумасшедшая.

Что если она права.

Я отогнал это и заснул. Впервые за долгие недели — заснул.

Глава десятая

Олег позвонил под вечер, когда я запирал кабинет. День вышел длинный: пятеро, с каждым по часу, и каждый говорил со мной так, как говорят люди перед долгой дорогой, — а слушать такое и есть моя работа, я в этом заведении тот, кого зовут поговорить. После таких дней хочется домой и молча. Но он сказал: у реки, — и я поехал к реке.

Мы знакомы полжизни — сошлись молодыми, а на чём сошлись, я уже и не скажу. Я шёл по своей части, по человеческим душам, по тому, что у них творится внутри; он — по другой, по материальному, по тому, что у них лежит в кармане. Спорили обо всём, что тогда казалось важным, и ни в чём не сходились, а дружили. Молодость не разбирает, кто про что; это потом начинаешь делить людей на близких по взглядам и далёких, а тогда просто было хорошо вместе, и хватало. Да какая теперь разница, на чём. Сошлись — и сошлись. С того, наверное, всё и пошло: однажды он появился, сказал, что есть дело и что так правильно, — и я поверил.

Под мостом всегда тихо, и встречи Олег назначает сюда, я думаю, именно из-за тишины — здесь река, прежде чем уйти под пролёт, делает широкую ленивую петлю и почти останавливается, и под вечер солнце ложится на эту остановившуюся воду длинной дрожащей полосой, дробится в ней мелко, и кажется, будто по реке рассыпали что-то блестящее, и оно никак не утонет. Он всегда приходит раньше и всегда стоит вот так — спиной к дороге, руки в карманах, лицом к этой полосе, — и я, спускаясь по тропинке, ещё издали вижу его неподвижную спину и сбавляю шаг, потому что прерывать человека, который смотрит на воду, кажется мне таким же неуместным, как окликнуть задумавшегося посреди молитвы.

— Хорошо тут, — говорит он, не оборачиваясь, когда я подхожу, и я понимаю, что он слышал меня давно, просто не счёл нужным повернуться раньше времени. — Особенно вот сейчас, пока солнце не ушло. Через полчаса оно сядет и всё погаснет, и будет просто серая вода. А пока — ты посмотри, как лежит.

И я смотрю, честно смотрю, и вижу обыкновенную реку, которую перегородили мостом, но говорю, что да, красиво, — и он кивает на это медленно, удовлетворённо, как кивают не собеседнику, а собственной правоте, которую тот случайно подтвердил. Потом ещё стоит немного, не торопясь возвращаться из своего к моему, дышит этим вечером, набирает его в себя, и только надышавшись поворачивается ко мне — и лицо у него спокойное, отдохнувшее, доброе лицо немолодого человека, которому минуту назад было просто и хорошо у воды, — и без всякого перехода, тем же ровным голосом, каким говорил про солнце, протягивает мне конверт и предлагает посчитать, он не обидится.

Считать при нём — заведённый порядок, и я считаю, хотя итог знаю прежде, чем дохожу до конца, потому что толщину пачки я чувствую пальцами так же безошибочно, как он чувствует свою воду, и пальцы говорят мне, что здесь меньше. Я всё равно досчитываю — не из недоверия, а чтобы не вышло, будто я бросил на полуслове, — и говорю ровно, по-деловому, как говорят с тем, с кем работают давно и кого не нужно ни в чём убеждать:

— Здесь меньше.

— Меньше, — соглашается Олег спокойно, не оправдываясь и не давя, просто подтверждая, как подтверждают погоду. — За сроки скостили. Долго подбирал.

— Подбор был непростой.

— Может, и непростой. Только заказчик ждать не любит, а ты его помуржили, он и занервничал. Это уже не товар, это репутация. За репутацию платим мы. Не я придумал скостить, порезали выше меня, я тебе передаю, как мне спустили.

Я мог бы возразить — спешка в нашем деле выходит дороже задержки, гнать тут нельзя, тело надо смотреть не наспех, иначе всплывёт потом такое, что никакими сроками не оправдаешь, — но мы не на базаре, и он не из тех, с кем переругиваются через губу за каждый процент, и я не торгуюсь, а просто обозначаю свою сторону, ровно, как обозначают позицию в переговорах, заранее зная, что она ничего не сдвинет:

— Я не тянул впустую. Куда тут спешить. Заказчику в этом теле потом жить да жить — лет тридцать, сорок. Что такое лишняя неделя против тридцати лет? Я выбирал так, чтобы он эти тридцать лет меня добром поминал, а не клял.

— Может, и так, — отвечает он, и видно, что говорит без хитрости, что вправду так думает. — Только заказчику про твои тридцать лет не объяснишь. Он живёт сегодняшним днём, ему ждать тошно, и он прав по-своему — он платит, ему и решать, тошно или нет. А кто-то эту разницу обязан закрыть деньгами — не он же, верно? Значит, мы. — И он чуть разводит руками, без вызова, мягко: так уж заведено, не нами.

И на этом всё кончается, вопрос закрыт — не потому, что меня переспорили, а потому, что спорить тут не с чем: он прав по бумаге. Арифметика безответная, как река за его спиной, и я убираю конверт, и думаю только, что меньше так меньше, и стараюсь не думать дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.